Учитель словесности

Автор:
Антон Чехов

Учитель словесности

Антон Павлович Чехов

«Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше: – Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!..»

Учитель словесности

I

Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:

– Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!

Маша Шелестова была самой младшей в семье; ей было уже восемнадцать лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа.

– Опля! – крикнула она, садясь на Великана.

Сестра ее Варя села на Майку, Никитин – на Графа Нулина, офицеры – на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрея белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора.

Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:

– Вы, Сергей Васильич, держите его все время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется.

И оттого ли, что ее Великан был в большой дружбе с Графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал:

«Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней…»

Был седьмой час вечера – время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, – тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!

Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено; только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище

белеет полоса отцветающих яблонь.

Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.

– У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю, – говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. – Но она бракованная. Совсем уж некстати это белое пятно на левой ноге, и, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет.

Манюся была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно все равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом; он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умеют держаться в седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам.

Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями, видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил:

– Вы изволили на каникулы приехать?

– Нет, я здесь постоянно живу, – ответил Никитин. – Я служу преподавателем в гимназии.

– Неужели? – удивился доктор. – Так молоды и уже учительствуете?

– Где же молод? Мне двадцать шесть лет… Слава тебе господи.

– У вас и борода и усы, но все же на вид вам нельзя дать больше двадцати двух – двадцати трех лет. Как вы моложавы!

«Что за свинство! – подумал Никитин. – И этот считает меня молокососом!»

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять.

Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари.

Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода – все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо.

Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал.

– Это хамство! – говорил он. – Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с!

Никитину, с тех пор как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых: и дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так

много, что за все время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать только двух: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидела: увидев его, она всякий раз склоняла голову набок, скалила зубы и начинала: «Ррр… нга-нга-нга-нга… ррр…»

Потом садилась под стул. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем, а хозяева говорили:

– Не бойтесь, она не кусается. Она у нас добрая.

Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом, жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. Это был добрый, глупый пес, но Никитин терпеть его не мог за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкал по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюк от пятен.

После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча, перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Ей было уже двадцать три года, она была хороша собой, красивее Манюси, считалась самою умной и образованной в доме и держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе, офицеров величала по фамилии, на Манюсю глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старою девой – значит, была уверена, что выйдет замуж.

Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть – ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает: «Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное!»

Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако, я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы Третьего отделения. Поздравляю вас».

Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос: «Это старо!» или: «Это плоско!» Если же острит офицер, то она делает презрительную гримасу и говорит: «Аррр-мейская острота!»

И это «ррр…» выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стула: «Ррр… нга-нга-нга…»

Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.

– Позвольте, Сергей Васильич, – перебила его Варя. – Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам восьмого класса сочинение на тему: «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский – другое дело, а Пушкин великий поэт и больше ничего.

– Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе, – угрюмо ответил Никитин.

– Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?

– А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры.

И Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», потом из «Бориса Годунова».

– Никакой не вижу тут психологии, – вздохнула Варя. – Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.

– Я знаю, какой вам нужно психологии! – обиделся Никитин. – Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилою палец и чтобы я орал во все горло – это, по-вашему, психология.

– Плоско! Однако вы все-таки не доказали мне: почему же Пушкин психолог?

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое: он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола, потом сел поодаль.

За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/anton-chehov/uchitel-slovesnosti-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити